Д. В. Григорович

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК




ЦИРКЪ

Д. В. Григорович

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

Повесть

Художник **П. Пинкисевич**

Москва
«Советская Россия»
1982





«...Когда я родился — я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...»

I

Метель! Метель!!. И как это вдруг! Как неожиданно!!. А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовалась на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — все смешалось.

Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбранили.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, — метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное все: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределенно чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их, вдоль закругленных коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свертки цветных флагов; при свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах

обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золоченый шест и выделялась голубая, шитая блестками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, — в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссер поспешил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете еще раздеться! — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, — подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите ее сюда... А, фрау Браун! — воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине в салопе, также не молодых лет, и шляпке, еще старше салопа.



Фрау Браун подошла не одна: ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

— Фрау Браун, — торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, — господин директор недоволен сегодня вами — или, все равно, вашей дочерью; очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!..

— Я сама испугалась, — тихим голосом произнесла фрау Браун, — мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда: но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, — сказал режиссер. — Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

— Но она вечером не работает...

— Будет работать, сударыня! Должна работать!.. — раздраженно проговорил режиссер. — Вас нет в

расписании, это правда, — подхватил он, указывая на писаный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, — но это все равно; жонглер Линд внезапно захворал, ваша дочь займет его номер.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, — проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, — теперь масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом; именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мертвую; и тогда уже прощай все расчеты на клоуна — расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упа-



ду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей, — а как клоун, как потешник, — не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, — чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было не много. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий; первый же сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный темного происхождения, — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы; за неимением такого, он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и нарумяненный, с перпендикулярно наведенными бровями, он, видимо, еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготовляясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам: браво! — звукам оркестра, — он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: клоуны, вперед!.. — он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных браво! — неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ — и все как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкно-

вений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало; он все тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещенной ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; все пропивалось; пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала масленицы за возраставшим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону.

— Эдвардс, — произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, — сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье — всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор тоже просит... Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!!. Два дня всего! — прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. — Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, — подхватил он, очевидно, более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, — вы говорили, он стал как будто слабее работать... Мудреного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

— И там и здесь нехорошо у мальчика, — сказал он, отводя глаза в сторону.

— Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; некем заменить до воскресенья; два дня пускай еще поработает; там может отдохнуть, — сказал режиссер.

— Может также не выдержать, — глухо возразил клоун.

— Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! — живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнув-


Циркъ
Циркъ



шими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлоковая шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер — совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напомаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, — он казался тяжеловесным и неповоротливым — обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене в трико телесного цвета он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкою пива.

На другом стуле помещался, тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания. Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную.

— Чего надо? — неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

— Полно, Карл, — возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, — ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

— Не надо, — сказал Беккер, — не пущу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слезы; взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

— Он вечером лучше будет работать, — продолжал задобривать Эдвардс. — Послушай-ка, я вот что скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, — я велю принести из буфета пива...

— И без того есть! — грубо перебил Беккер.

— Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей

работе скучать не годится; сам знаешь: веселость придает силу и бодрость...

— Это уж мое дело! — отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: марш! и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

II

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишках; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, ее помнил. Как теперь, видел он перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку: луком, куском пирога, селедкой, хлебом, — то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его чем ни попало и куда ни попало. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, — отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место; она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених — даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем,

гораздо основательнее. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый; но люди живут и не в такой тесноте; наконец квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар все еще как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цену самовара на Апраксином дворе. Колебания его при этом начинали устанавливаться на более твердую почву. Возиться с самоваром действительно было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя; хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни се; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем — хочешь не хочешь — пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорожденного, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорожденный явился на свет таким тщедушным, таким изнуренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, — новорожденный действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребенка и развить его легкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего, дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы; в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слез и еще больше пива.

Но ушел муж — и снова начались мытарства по отыскиванию

места. Теперь только труднее было; с ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовий паспорт.

Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик наверное бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба, наконец, сжалилась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары, она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Черной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за ее подол, сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев.

Утомленные работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих замечала, как прибрежные ветлы постепенно окутывались тенью и в то же время все ярче и ярче разгорался закат; как нежданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки ветел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде, и как, одновременно с этим, над водою и в теплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика — тогда еще не гуттаперчевого, но обыкновенного, каким бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он о Черной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

И так Анне жилось изрядно; но прошел год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?..» — послышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, — никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха — человека ростом с наперсток, съеженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамываю-



щего на левую ногу, — ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Черной речки, и еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который



собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Анне, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшим для Анны было то, что муж почему-то невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить его, и как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропадал по нескольку дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба. Анна, для прокормления себя и ребенка, ходила на поденную работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной вареным картофелем,

тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нем с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она повсюду таскала Петю, который полюбил ее и называл бабушкой.

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили — видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какою-то шальною, лицо ее осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; к жалкому ее виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; ее покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голоду состоянии. Ее свезли в больницу. Соотечественница ее, прачка Варвара, навестив ее раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня-завтра отдаст богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько; он жалел ее, однако ж, и плакал, — хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колол лицо как иголками и волнами убегал по мерзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нем случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть, если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь потом близко с усталостью ног и спины, он все-таки помнил, как уходился тогда, провожая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определенье по закону, куда следует; но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к «бабушке» и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история; все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обученье. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива — две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой, он принял позу даже при виде прачки.

— Ну вот, Карл Богданович... вот мальчик!.. — проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке, Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходившие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

— Хорошо, — произнес акробат, — но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил свое требование и Варвара, повер-



нув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара.

— Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался?.. Разденься, батюшка, разденься... ничего... смотри ты, глупый какой!.. — повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Петю; Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал; но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она

торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, — только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, — Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез.

— Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя... — повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате; он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись, как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съеживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

— Ну, малшик, слуш, — сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети, — когда ты хочу там... (он указал на дверь), — то будет тут!!. (он указал несколько ниже спины), — und fest! und fest!![1] — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как

[1] И сильно! И сильно!! (*нем.*)

дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика; но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю; наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебегал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей! Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался; но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был легок, как пух, и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами; но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка; мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начал прыгать с разбегу через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, — последнее редко удавалось; Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он

скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперек ее перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, — и так каждый день по нескольку приемов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, — лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора, — после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян; что страх внушает несомненно робость, а робость первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представленьем, что когда пришлось подбросить их ногами на воздух, — дети раза два перекувырнулись в пространстве, да тут же прямехонько и шлепнулись на пол.

— Бросились подымать, — подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты, — подняли, глядь: оба fertig![1] готовы! У обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя, — да что ж из этого? Детей своих все-таки не воскресил: fertig! fertig!..

---

[1] Готовы! (*нем.*)



И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представленья на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку.

Петя напрягал тогда все свои силы; но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок, — чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нем, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лежа на тюфячке, прислушивался он к храпенью акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, повидимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, оставались лохмотья, что белье на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдвардс, — часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам. Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащенно целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представленья тем, что его публика не вызывала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздраженный окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движеньем оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину.



— Schwein![1] Швынья!.. тьфу!.. — сказал Эдвардс, отплевываясь с негодованием.

Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковер также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение.

Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках — обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, — обозначали владения мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподымавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой: с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стене, висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.

В среду, на масленице, в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет; вот что было здесь, между прочим, сказано: «Деточки, вы с самого начала масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда; если вы буде-

[1] Свинья (*нем.*).

те так продолжать, — вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тетей Соней, — сестрой графини Листомировой — девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в ее сердце.

Не успела она проговорить свое обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее; кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колена, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, приглашенная в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

— What is going on here?..[1] — удивленно осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красною шеей свекловичного оттенка.

Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской веселости всех больше удивил Паф — пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых; мальчик был всегда таким тяжелым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что́ его ожидало в цирке, — он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, — принялся изображать клоуна.

— Мисс Бликс! — подымите его, подымите скорее, — ему кровь бросится в голову! — проговорила тетя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

— Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными... Не хотите слушать, — говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать — не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шести-

[1] Что здесь происходит?.. (*англ.*)



летняя Зина; мальчику было, как сказано, — пять. Его окрестили Павлом; но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф — имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживленье и беспокойство по утрам и вечерам, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеенку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, — глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завертывать ему голову, могла мять и теребить его, — Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдоб-

ного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову набок: «мог — кто знает? — мог играть в будущем видную роль в отечестве?!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представленье в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада, — она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка: тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки



были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, — но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырех лет она с самым серьезным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была — Верочкой и осталась.

Что говорить, у нее, как и у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость; но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню и тут же, нимало не смущаясь, с самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, заслышав какой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, — приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев, — Верочка стояла на своем; поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла:

— Нет, мама́, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы:

— Я думала, мама́, что стихи сочиняют только ангелы...

С самой среды, когда обещано было представленье в цирке, до четверга благодаря нежной заботливости Верочки, ее уменью развлекать

сестру и брата оба вели себя самым примерным образом.

Особенно трудно было справиться с Зизи — девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданьям и капризам.

В четверг на масленице тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также оживился и заморгал своими киргизскими глазками.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказала тетя Соня, — все будет по-вашему: тебе, Верочка, рабочий ящик, — ты знаешь, папá и мамá не позволяют тебе читать книг; тебе, Зизи, куклу...

— Которая бы кричала! — воскликнула Зизи.

— Которая бы кричала! — повторила тетя Соня, — ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?..

Паф задумался.

— Ну, говори же, что тебе купить?..

— Купи... купи собачку — только без блох!.. — добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тети и докрасна зацеловали ее шею и щеки.



— Ну, довольно, довольно, — с ласковой улыбкой произнесла тетя, — хорошо; я знаю, что вы меня любите; и я люблю вас очень... очень... очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умен и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два другие лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

— Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк? — произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдкою поглядывая на мужа.

— Отчего же? — весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара, — я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей, — наши детки были, право, так милы... Нельзя же их не побаловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

— Все это так, — заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место, — но я всегда боюсь этих зрелищ... Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны...

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих, — хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «не стоит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, — и напрасно это делал; по справедливости, ему следовало бы даже гордиться худобою ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившем между сплюснутыми боками головы, большею частью склоненной набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты по шоссейной дороге, — ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил; но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно, чем-то неудовлетворенный. Мысли ли его были не поняты как следует или действия не оценены по справедливости, — только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, — если не считать, конечно, нескольких звезд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том самом месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? зачем? почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего огра-



ничивался тремя словами: «Tu penses? Tu crois? Quelle idée!..»[1] — и только.

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивая бумажку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирал пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Ох-хо-хо-хо-хо!!.» — после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно.

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женою, — и находя это необходимым потому, что это... это всегда поддерживает — именно поддерживает... — но что поддерживает, — это граф никогда не досказывал.

— Tu crois? Tu penses? Quelle idée!.. Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и

---

[1] «Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль!..» (*франц.*)



тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, — из чего жена и тетя Соня с огорченным чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру — когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

— Отчего же детей нет? — торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню, — мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! — обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошел, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъявления каких бы то ни было чувств пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз по крайней мере граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупрежденные Верочкой, не произнесли слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такой силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос — словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тетки. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, — далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки;

положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

— Мама́... можно?.. Можно взять эту афишку?..

— Можно.

— Зизи! Паф! — восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой, — пойдемте скорее!.. Я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке; все расскажу вам!.. Пойдемте в наши комнаты?..

— Верочка!.. Верочка! — слабо, с укором, проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игральной комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее.

На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тетя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, — все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тети и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

— Милая моя, — тихо произнесла тетя Соня, — зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; все это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чем будет заключаться представленье...

— Нет уж, душечка тетя; нет уж, ты только не мешай мне, — убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка, — ангельчик тетя, не мешай!.. Уж я все прочту... все, все... что тут напечатано... Ну, слушайте:

— «*Парфорсное упражнение на неоседланной лошади. Исполнит девица...*» Тетя, что такое парфорсное?

— Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! — сказала тетя, стараясь выйти из затруднения.

— Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: «*Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...*» Это, тетя, что же такое трапеция?.. Как это будет? — спросила Верочка, отрываясь от афишки.

— Как будет? — нетерпеливо подхватила Зизи.

— Как? — произнес в свою очередь Паф, посматривая на тетю киргизскими глазками.

— Зачем же я буду все это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите...

Затруднение тети возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

— «*Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аршин!..*» Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь!.. это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

— Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... наконец, вы это увидите...

— Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

— Как будет он делать? — подхватила Зизи.

— Делать? — коротко осведомился Паф, открывая рот.

— Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, право, ничего не могу вам объяснить... Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такою живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками — что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда еще не было так весело в игральной комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, раскрасневшиеся лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой; давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце — все это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем...

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись

к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тети Сони — было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

— Это ничего, тетя?.. Мы в цирк поедем?..

— Ну, конечно... конечно! — поспешила успокоить тетя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тетя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тетя, ты ничего, я знаю; а вот что там будет, что папа́ и мама́ говорят...»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода.



Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречаем был тем же вопросом:

— Который час?..

— Пятый в начале.

— А скоро будет семь?

— Скоро; подождите немножко.

Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час.

Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. Зизи и Паф хотя и волновались, но еще верили; что ж касается Верочки, — известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

— Пойдемте теперь; надо проститься с папа́ и мама́, — проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие.

Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели и прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами а l'anglaise[1], побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

---

[1] По-английски (*франц.*).

VI

Представление в цирке еще не начиналось. Но на масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти люди при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили — кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста.

Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была все-таки Верочка!

Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком.

Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавесь у входа в конюшню раздвинулась и пропустила человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошел одобрительный говор.

Представление начиналось.

Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса.

— Браво, Эдвардс! Браво! Браво! — раздалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки; кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром, во время представления.

На этот раз все прошло, однако ж, благополучно.

Девицу Амалию сменил жонглер; за жонглером вышел клоун с учеными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, — словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

— Душечка тетя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? — спросила Верочка.

— Да; в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?

— Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! — восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликс, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

— Ну, а тебе, Зизи?.. тебе, Паф, — весело ли?..

— А стрелять будут? — спросила Зизи.

— Нет, успокойся; сказано: не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимися на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

— Когда же будет гуттаперчевый мальчик? — не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой, — когда же он будет?..

— А вот, сейчас...

И действительно. Под звуки веселого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего



мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, — после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подыматься кверху.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо, тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

— Браво!.. браво!.. — раздалось снова в зале.

— Довольно!.. довольно!!. — послышалось в двух-трех местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине.

— Довольно! Довольно! Не надо! — настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою...



Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе; в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг; послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню.

На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов; но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик! мальчик!!»

Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована; с другой — надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей — надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея.

Все это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты.

Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету нисколько не оправдались; затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик! мальчик!!» — но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется... Первым делом тети, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания ее не кончились.

Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом.

— Ну что? как? Как дети? — спросили граф и графиня.

В эту самую минуту из спальни послышалось рыданье, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик, мальчик!..»

— Что такое? — тревожно спросил граф.

Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся.

— Ah, mon Dieu![1] — воскликнула графиня, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло.

Граф выпрямился и начал ходить по комнате.

— Я это знал!.. Вы всегда так! Всегда!!. — проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоскливо, — всегда

[1]— Ах, боже мой! (*франц.*)

так! Всегда выдумывают какие-то... цирк; гм!!. очень нужно! quelle idée!!. Какой-то там негодяй сорвался... (граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких, вульгарных выражений), — сорвался какой-то негодяй и упал... какое зрелище для детей!!. Гм!!. наши дети особенно так нервны; Верочка так впечатлительна... Она теперь целую ночь спать не будет...

— Не послать ли за доктором? — робко спросила графиня.

— Tu crois? Tu penses? Quelle idée! — подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами...

Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую.

Там уже наступила тишина.

Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно угомонилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог.

Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под раскрасневшуюся щечку, Верочка спала; но сон ее не был покоен. Грудь подымалась нервно под тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта.

Тетя Соня умильно перекрестила ее; сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полог и тихими, неслышными шагами вышла из детской...



VII

Ну... А там? Там в конце Караванной... Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега, — там что?..

Там также все темно и тихо.

Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты; на тюфяке лежит ребенок с переломанными ребрами и разбитой грудью...

Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован; на голове его также повязка; из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз.

Вокруг, направо, налево, под потолком — все окутано непроницаемою темнотою и все тихо.

Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгиванье одной из ученых собак, которой утром во время представления придавили ногу.

Время от времени слышатся также человеческие шаги... Они приближаются... Из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на щеках; накинутое на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола; он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается...

Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания, данного режиссеру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей; его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затушевывается окружающею темнотою, пропадает, наконец, вовсе, — и снова все вокруг охватывается мраком и тишиною...

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.



35 коп.

Григорович Д. В.

[illegible]

Дмитрий Васильевич Григорович

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

[illegible]